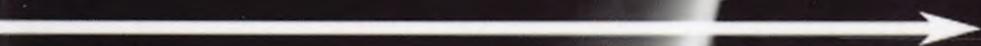


Станислав Божко

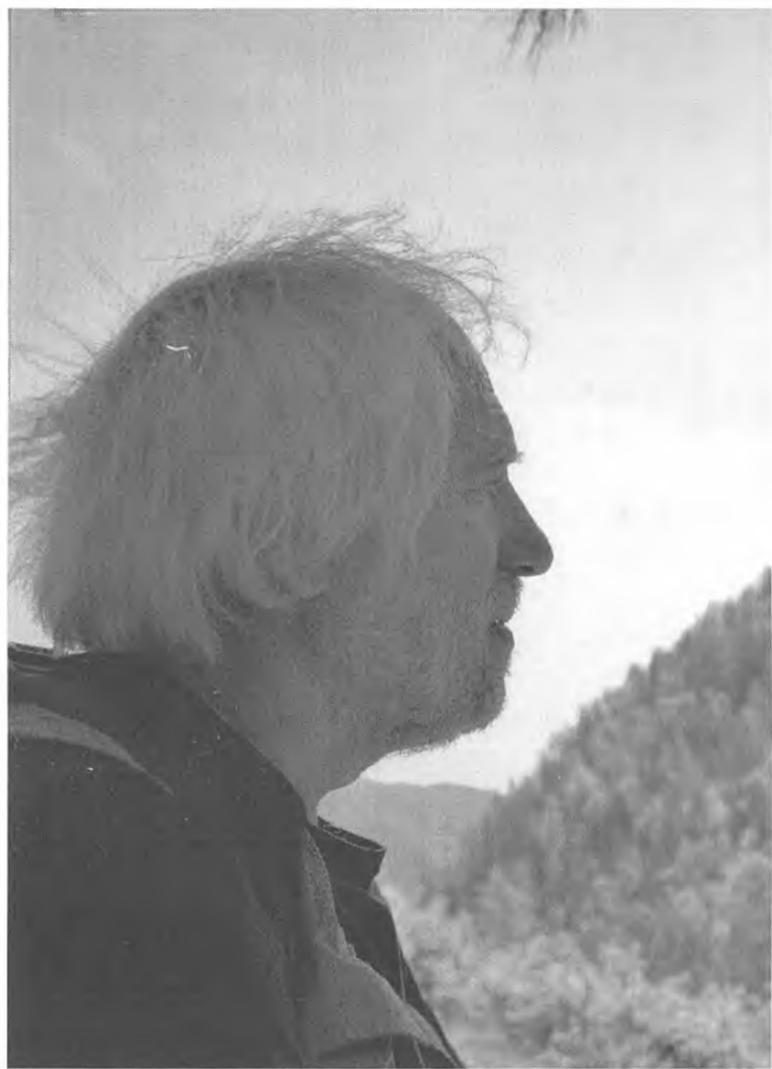
*Последнее  
убежище*



Станислав Божко  
*Последнее убежище*

---





Станислав Божко

*Последнее убежище*

Москва  
*Волшебный фонарь*  
2018



*Он лежит ничком, вцепившись пальцами  
в дужку уже проржавевшего ведра, едва различимый  
в грязной траве, терпеливо оплетающей его тело.  
Житель одной из ячеек в серой девятиэтажной сте-  
не, не вернувшийся с водопоя.*

*Склон холма залит холодным светом. Ветер  
треплет лиловые головки репейника, и лёгкий пух  
плывёт над дорогой.*

*Автобус раз в день ещё доползает сюда из цент-  
ра, но в домах давно нет тепла и почти нет еды.  
Вечером, когда стрельба немного стихает, они  
спускаются за водой и топливом на заболоченную  
свалку позади ржавяющих рельсов железной дороги,  
и те, кто возвращается домой, разводят крошечные  
костры на лестничных клетках, чтобы сварить  
болтушку из остатков кукурузной муки.*

*А ночью хоронят своих убитых за пустыми же-  
лезными гаражами.*

Из полевого блокнота.

Сухуми.

Октябрь 1992

Сквозь пробоину в стене я смотрю на выцветшие, как старая коричневая фотография, зимние пальмы. Гвардейцы Мхедриони в чёрных комбинезонах, похожие на деловитых муравьёв с плюющимися огнём железными жвалами, сделали свое дело и ушли. Вне меня, в рамке из ржавых арматурных прутьев, на которые насажены обломки бетона – мокрый песок и грязный прибой, гоняющий зелёные пряди водорослей по мокрым плитам разрушенной, сползающей в море набережной.

Я – мёртвая обугленная коробка со скрученными пламенем межэтажными балками и блестящими застывшими ручьями битумной смолы в водостоках. Время вне меня убито, а то, что приютила окаменевшая после пожара чёрная смола, живёт внутри неё и абсолютно неуязвимо.

Битум надёжен, и, возможно, вечен, а от книг остались пепельные коконы на металлических стеллажах сожжённой библиотеки.

Я начинаю понимать, что те, кто почти столетие ютились между твёрдыми пластинами картона, наконец-то отпущены на свободу. Ветер подхватил и Дон Кихота, и Татьяну, и Гека с Томом,

---

\* АБНИ: Абхазский научно-исследовательский институт в Сухуми. Сожжен отрядами Мхедриони (Грузинской национальной гвардии) в октябре 1992 года.

и они стали нищим бродячим братством, серыми махаонами, над холодным зимним морем.

Но лучшее, что сохранилось и живёт во мне до сих пор — это камин в гостиной с провалившимся полом и небом вместо потолка. Маленький камин с королевскими лилиями на голубых изразцовых плитках.

Воздух здесь был неправдоподобно сух и прозрачен, словно, выйдя из воды, они оказались внутри остывшей стеклянной жаровни. Каньон, начинающийся в ста шагах от Coral beach – пляжа на дальней окраине Эйлата – уходил вглубь горного массива, и он подумал: вдруг им удастся подняться до самого верха, чтобы взглянуть на пустыню, лежащую позади хребта.

Каньон беспрепятственно впустил их в себя и бесшумно затворил за спинами невидимую дверь.

Он приехал сюда в отпуск с дочкой – подростком-аутисткой, упорно и безнадежно молчащей уже восьмой год, и вроде выходило так, что остаток жизни ему придётся домалчиваться вместе с ней.

Когда он вернулся со второй своей войны, из Чечни, жена рассказала ему, как трёхлетняя девочка часами стояла, завернувшись в его старый кожаный плащ, висящий за дверью, и подумалось, что именно тогда молчание, укрытое внутри тёплого чёрного кокона, стало разрастаться в ней – так растёт дерево: незаметно, но упорно и безостановочно. Потом оно захватило её всю, и последние слова – эхо её прощания с миром, донесли до него как-то поздней осенью через два года: «Снег, снег, снег, снег...».

Теперь они двигались вверх осторожными короткими траверсами, и он равнодушно наблюдал, как камни на осыпях по бокам тропы, только что бывшие серыми, становятся тёмно-синими и прозрачными. Когда он увидел это в первый раз, на закате, в одной из укромных долин рядом с Кар-

миэлем, то, усмехнувшись, подумал, что кактус, к которому он невзначай прислонился вспотевшей спиной, впрыснул в него дозу пейота. Впрочем, впечатлений хватало и без «дозы»: дочка и тогда, и сейчас активно пальпировала пейзаж: ожившая кисть руки над её левым плечом плела вокруг них невидимую корзинку. Пальцы ловко затягивали тугие стежки из подразумеваемых гибких прутиков и нитей, и по окончании работы камни рядом с ним стали просто чёрными провалами в никуда.

— Понимаешь, это единственная тропа, — бормотал он, балансируя на обтекающей кроссовки осыпи, — идущая вглубь. Вглубь — облака, вглубь — оливы, вглубь — глубины...

Он остановился, поджидая чуть отставшую дочку, и неожиданно вспомнил старые стихи, столь любимые им в отрочестве. И невероятно смешное, на его теперешний вкус, словечко из них: «безумно». Там было: «хочу безумно жить», и дальше, вроде: «всё сущее — увековечить». Автор наверняка верил в возможность «увековечивания сущего» и даже, такой гордец! — в «воплощение несбывшегося». Понятно, что без магии в этом деле ему было не обойтись.

«Они там все каналы под магов, сноровистых и рукодельных, только вот пили много, — подумал он, — но всё равно у них что-то получилось. В том числе — и тот мир, откуда я теперь ищу несуществующий выход».

На мгновение он потерял равновесие. Ноги ушли в вязкую кремнистую темноту, а потом (каждый раз переход оказывался неожиданным) упёрлись в плоские камни, которыми оканчивалась единственная улица этого чеченского села: улица,

круто забирающая вверх и переходящая в тропу, прыгающую через ручей по дну узкого ущелья. Он оглянулся назад, вспомнить, что осталось там, внизу.

Внизу стоял февральский холодный туман, и его капли всё ещё цеплялись за плечи штормовки. Отсюда, сверху, село было — как мертвец, укрытый грязным белым одеялом. Остывшее изувеченное тело — окоченевшая судорога, в полтора километра длины, наискосок уходящая в долину. Он вспомнил, как утром выползал из разрушенного дома через метровую пробоину, похожую на люк затонувшей субмарины, и тогда ему на мгновение показалось, что нужно сильно оттолкнуться ногами, чтобы выплыть на поверхность.

Поднимаясь по ущелью, он повторил привязчивую строчку старых стихов.

«Ну, да: увековечить сущее, и притом именно сейчас... Только вот на хрена?»

Ведь здесь, над пустыми черепами зимних репейников, уже соткали свой холст железные машинки, безупречно завершившие обратный процесс. И сноровистые *submachine-gamers* сдали готовый продукт заказчику.

Бой ушёл далеко вверх и вроде бы закончился за порогом перевала, там, где к скальному разлому прижимался лунный диск со стекающей вниз по его левому боку тёмной змеей Моря Холода.

Он закрыл глаза и увидел большую краснопёрую рыбу, штурмующую водопад, по ту сторону глазных яблок. Балансируя на тугом прозрачном канате, она извернулась, подпрыгнула ещё раз, и поток бросил её вниз, на острую пластину скалы —

кремниевый разделочный нож, выступающий из кипящей воды.

Он начал осторожно откидывать голову назад, одновременно стараясь забросить в сетчатку глаз тусклые, быстро теряющие объём камни на круто обрывающейся в ночь тропе. Вспомнив о дочке, он решил, что так он поможет наполнить её корзину. И тогда почему-то всё окажется в порядке.

Закончив, он поднял невесомый полупрозрачный кокон вверх, совместив с той частью его планеты, что (вместе с нарастающей болью в позвоночнике) была только жёлтым жерлом проектора, за которым в пыльной будке спит поддатый киномеханик, а закольцованная лента, совсем не мешая ему, шуршит и поскрипывает, продёргиваясь сквозь блестящие сочленения.

«Просто — двойная планета, — подумал он, — и ты — кровоточащая рыба, пытающаяся пробиться в далёкое лунное море через беззвучный прибор отражений».

Обетованность земли, в чью тёмную плоть он вдавливал спину и затылок, была только иллюзией, беспомощно трепыхающейся в холодных ладонях Бога. Но эти искалеченные ладони с начисто стёртыми линиями жизни, безнадёжно чужие и потусторонние, всё же были ближе его телу, чем горы вокруг.

«Сепаратный мир, — подумал он. — Я, как тот несчастный парень из старого хемингуэевского романа, всё же заключил его. И теперь всего-то и нужно — двигаться вверх внутри светового кипения, чтобы остаться той частью мира, которая отделилась».

# Попытка к бегству

*Памяти Аркадия и Бориса Стругацких*

Она просыпалась, и дед сразу же открывал потрёпанную книжку и начинал учить её языку фарси. Она долго не понимала, что эти летящие через страницу, изгибающиеся, как гребни волн, с точками звёзд над ними, ловко цепляющиеся друг за друга чёрточки что-то означают. А русские буквы, которым её учили в школе, были как будто живыми, казались ей то человечками, то домиками. С человечками можно было разговаривать, а в домиках прятаться и играть. Она так и делала, когда засыпала. Она жалела их, потому что знала: русским буквам очень одиноко жить по отдельности, и поэтому, совсем как ребята в детсаду, они стараются собраться вместе в **слова** — сливаются, как капли воды во время дождя. Она долго так и называла их: «**слива́**», и дед, смеясь, всё поправлял её.

С фарси было по-другому. Внутри сна строчки раскачивались под ногами, и ей казалось, что она балансирует на очень высоко натянутом канате, как та девушка в цирке, которую она увидела прошлым летом. И сама она тоже становилась канатоходцем в этом движении, побеждающим земную тяжесть и — как-то так получалось — земную обиду тоже.

А однажды слова (когда дед показывал ей в книжке то, что он называл: стихи), раскрутясь внутри головы, вытянулись в дрожащую тугую нить и ринулись в позвоночник, и она сама вытянулась вслед за ними куда-то вовне, словно преврати-

лась в летящую стрелу или птицу, и ощутила ветер, обтекающий её невесомое тело.

Деда убили в одну из первых бомбёжек. Он лежал в городской больнице после операции, и когда она пришла проведать его, то хирургического отделения уже не существовало. Она открыла уцелевшую входную дверь и даже сделала шаг внутрь, но дальше была пустота вместо лестницы на второй этаж и небо вверху. Ей стало очень легко, потому что она подумала, что деду в последний момент удалось вцепиться в строчку из его книги, с которой он не расставался даже в палате, и уйти через неё (или с ней) в распахнутое авиабомбой небо. Это было несравненно лучше, чем лежать под бетонными плитами и почерневшими кирпичами в рухнувшей пятиэтажке в самом центре города. Оттуда уже третий день доносились стоны, а люди из соседних домов сначала пытались пробиться под завалы, а потом ставили свечи на тротуар, зажигали их и уходили.

Теперь самолёты с бомбами налетали на город уже каждый день, и девочка быстро и вроде бы успешно училась в главной и единственной на этот случай школе. В ней были и дети, и взрослые: мужчины, женщины, старики. Всё было очень просто. Классы сначала не вмещали желающих, а потом быстро пустели. Двоечники, не сдавшие экзаменов, лежали по всему городу. Их не успевали закапывать, и они становились законной добычей быстро дичающих дворовых собак. А девочка осторожно двигалась по тропе, петляющей между жизнью и смертью, но приобретённые навыки не гарантировали выживания, и нужно было учиться дальше.

Она уже могла, чуть напрягаясь, сама читать книги из библиотеки деда и, перебирая их, заметила, что чаще предпочитает книги на фарси, и что они нравятся ей больше русских. Словно кто-то невидимый осторожно подсказывал ей, какую книжку следует выбрать. Читать было трудно, но почему-то необходимо, хотя часто на то, чтобы понять одну строчку, уходило больше часа. И она научилась замечать, что «книжное» время как-то изменялось и с ним происходило что-то необычное. Если «гребень волны» — так она воспринимала некоторые слова — уходил вниз, а потом загибался чуть назад, как это бывает с настоящими волнами, то она оказывалась как бы позади самой себя и заглядывала через плечо той девочки, навверное, её несуществующей сестры, что читала книгу. И вдруг без всякого напряжения, сразу понимала то, что прочла.

В последний раз там было: «Абу-Хамид аль-Газали. Тайна двух миров».

Еда кончилась, и тело девочки стало совсем лёгким. Её часто тошнило, а запивать тошноту было нечем: с водой тоже возникли проблемы. Источники, так предупреждали чеченские военные, были пристреляны федеральной артиллерией, и там убивало сразу по несколько человек. Идти туда явно не стоило.

Ей всё чаще снилось, что ветер поселился внутри её костей и его порывы позволяют парить над поверхностью земли. Как-то, взлетев во сне, она поняла тайну птиц. Люди ошибаются: не перья, а ветер, живущий в полых птичьих костях, обеспечивает возможность полёта. И это открытие было настолько простым и ясным, что она за-

смеялась во сне и, проснувшись, с трудом ощутила себя лежащей на постели.

Утром она поплелась в заброшенный сад за абрикосами. Она очень боялась ходить туда, потому что почва под деревьями слегка пружинила — там было много безымянных могил. А однажды она увидела сплётённые с травой человеческие волосы, пробившиеся из-под земли, и забыть это уже не могла.

Когда она вернулась домой с пакетом мятых абрикосов, то поняла, что в квартире кто-то побывал. Книг не тронули, но одеяло, которым она укрывалась в холодные ночи, исчезло.

В книге Абу-Хамида она нашла очень важную для себя историю, о том, как можно спастись, став невидимым. Она долго вникала в текст, часто заглядывая в толстый словарь, который она хранила под матрасом. Она понимала, что её везение подходит к концу. Последняя оставшаяся в живых подружка два дня назад полезла за едой в развалины консервного завода и подорвалась на растяжке. И девочке показалось, что теперь наступил её черёд.

Речь в книжке шла о волшебном семечке клещевины, зарытом в землю в голове чёрного кота. В абрикосовом саду, куда она навевалась вчера, она заметила пышный куст этого растения, но о том, из чьей головы он рос, ей не хотелось думать. Полиэтиленовый мешок и обломок зеркала — вещи, тоже нужные для предстоящего дела, — у неё были, и на следующее утро она решилась. В книжке всё было написано очень понятно, и она, надев мешок на обсыпанную семенами верхушку куста, сломала стебель и вернулась домой. Усевшись на

кровать, сделала дырку в мешке и прислонила зеркало к спинке стула, стоящего рядом с кроватью. Потом, следуя инструкции, стала вынимать зернышки из мешка и класть их в рот одно за другим.

Обстрел, как всегда, начался внезапно, но и прекратился быстро. Рядом с домом что-то горело, а девочка, не отрываясь, клала в рот семечки — одно за другим, и, когда на улице раздались злые крики солдат и затрещали автоматные очереди, она, взглянув в зеркало, поняла, что ей, наконец, повезло. Они прикладами вышибали дверь, но искомое семечко уже было найдено, и зеркало стало пустым.

Они были профи, эти коренастые парни в ладно пригнанном камуфляже, и перед тем, как ворваться в жильё, бросили туда гранату. А когда вбежали в комнату — увидели только иссечённые осколками стены и потолок. В алых точках на удивительно белой известке.

*«...Возникают на развилках дорог, на исклѣ-  
ванных минами перекрёстках, рядом с наскоро  
залатанными мостами, словно отпочковавшись от  
близких руин.*

*Они подгоняют автокран и громоздят друг на  
друга заросшие мхом, заплесневелые фундаментные  
блоки, оплетая их ржавой колючей проволокой.  
В дело идет всё: остатки бетонных водоводов,  
щебень и дёрн, разноцветные голыши, принесённые  
рекой, и обломки древесных стволов, каждую весну  
выбрасывающие свежую зелень.*

*После ночной стрельбы над блокпостом растека-  
ется запах древесного сока. На низких проволочных  
заграждениях, заставляя вспомнить о нотном ста-  
не, висят пустые консервные банки и остовы птиц,  
привязанные за лапки.*

*Ветер, дующий с Северного побережья смерти,  
высвистывает основную мелодию, маховые перья  
несостоявшихся Джонатан Ливингстонов вздраги-  
вают, под ними напрягаются мёртвые сухожилия,  
и только тогда в свист ветра вплетается постуки-  
вание полых птичьих костей — невесомый рэгтайм  
этого места.*

Из полевого блокнота.  
Чечня. Февраль 2000

Он неожиданно заблудился — и очередной распадок вывел его к разрушенной нефтяной скважине. Свежий снег в сочетании с искорёженным чёрным железом напоминал резко оборванную музыкальную фразу: видимо, чтобы получить тишину, здесь рубили по живому.

«Маркса проповедь на stravинский лад», — вспомнил он строчку из «Поэмы конца».

Название текста, да и сама строчка удивительно шли к месту, в котором он перемещался уже вторую неделю. Впрочем, очевидность лгала: Марксом в этой стране уж точно не пахло, скорее Захер Мазохом, и неожиданно осознанный им похабный привкус в имени мастера, тоже очень уместный здесь, заставил его криво усмехнуться.

Ночь всё не заканчивалась снаружи, впрочем, и внутри — тоже. Там, внутри, теперь был всегда пустой кинозал, и он, войдя в него, привычно напрягся, уставившись в экран, натянутый позади глазных яблок. Экран, дёрнувшись, ожил, и его плоскость наискосок пересекла чёрная полоса моста, висящего над замёрзшим водохранилищем. По нему он прошёл всего час назад: изображение было контрастным и неожиданно крупнозернистым, словно каждый квант света, ударившийся в полотно, оставлял вокруг себя полупрозрачный шарик: икринку с чёрным ядром внутри. Собственно, его жизнь, — вдруг сформулировал он, — и была совокупностью этих дергающихся икринок в окружающей их, медленно густеющей холодной взвеси.

Камера, чуть покачиваясь в такт шагам, приближалась к людям, безвольно перевесившимся

через перила. Они вроде бы наблюдали за рыбаком внизу, но когда он подошёл ближе, то понял, что они мертвы. Впрочем, как и рыбак, пойманный на невидимый крючок шальной мины и распластанный теперь на льду рядом со своим ведёрком...

Он всё стоял на дне распадка, в темноте, а за его спиной, в посечённом осколками кустарнике, ворочалась, не всплывая на поверхность, холодная, бессмысленно цепляющаяся за ветки медуза восходящего солнца. Но заснеженный склон перед ним всё же светлел, становился раскрытой школьной тетрадкой в косую линейку, ещё не начатой, но уже готовой к годовому диктанту. И он ощущал себя напрягшимся перед последним броском нерадивым школяром, враз забывшим все правила, которые вбивала в него целый год назойливая училка.

Потом пространство, которое медленно раздувалось вокруг него, внезапно исчезло, лопнув, как воздушный шарик, и оказалось внутри, став непригодным для обычного дыхания. Он понял, что воздух и всё остальное тоже теперь внутри и, чтобы продолжать жить, нужно немедленно научиться дышать, не вдыхая и не выдыхая.

Железо, снег, деревья, запах сгоревшей нефти и, неожиданно, он сам — сразу стали с иголки новыми и совсем пустыми. Он давно, ещё в раннем детстве, расковыривая игрушки, понял, что в сердцевине самых плотных предметов ничего нет, только вот ощутить это, став взрослым, не так просто. А теперь это стало как раз таким простым, что уже нельзя было понять, что это может быть иначе.

Он вспомнил, каким глубоким и чистым был звон лопающейся арматуры, когда снаряд или мина пробивали стену панельной девятиэтажки. Внутри теперь было почти так же, но совсем отсутствовали запах смерти и плотный раздирающий голову шум, с которым он как-то свыкся за последние дни.

Он всё же глубоко вздохнул, прикрыв слезящиеся глаза, и в темноте — теперь это была ночь в квартире старого приятеля, которого он так и называл все последние годы: «Старый» — повозился на кухне, нашёл и глотнул прямо из бутылки, покрытой красивыми кристалликами льда, прозрачную, чуть загустевшую в морозильнике водку.

Заканчивается первое Бардо\*, — подумал он, — и ты просыпаешься и понимаешь, что умер.

Он вспомнил продуктовый рынок, раскинутый по внешнему обводу большой бомбовой воронки на пересечении федеральной трассы и дороги, ведущей из Города, и тень вчерашнего взрыва, сделавшую почти невидимым лицо торговки, у которой он купил горячую ржаную лепёшку. Она пристально и тупо смотрела на него, пока он нашаривал деньги в глубоких карманах куртки.

---

\* Ченъид Бардо (Chos-nuid Bar-do) — Второе Бардо. Термин из Тибетской Книги мёртвых, обозначающий промежуточное состояние ясного сознания, наступающее после завершения Первого Бардо, когда познающий пробуждается и сознаёт, что умер.

На протяжении этой никак не кончающейся минуты он медленно и остро вбирал в себя незаметную на первый взгляд потусторонность этого места. Он вспомнил, как знакомый китаист рассказывал ему о геоконе — китайской поделке из вложенных друг в друга деревянных шаров.

Сейчас он был муравьём, забравшимся внутрь своего геокона и начисто забывшим дорогу обратно. Мало того: каждое следующее движение перемещало его всё глубже внутрь, словно он скользил вниз по конусу ловушки муравьиного льва.

«Промежуточные состояния и память о них», — подумал он.

В этом всё дело — полуторатонная хреновина с неба ежедневно падает на перекрёсток, и всегда — в одно и то же место, уничтожая его. А потом кто-то ловко восстанавливает и этот базарчик и этих людей. А их жизнь — ветер, дующий ровно и постоянно из низших областей смерти. С самого дна воронки.

Или, может быть, навсегда поставленный на одно и то же время будильник.

Безотказный «Ченьид Бардо».

## *Кремнистый путь из старой песни*

Пятна облаков на дальних хребтах позади Мёртвого моря похожи на лес, зачем-то впечатанный Автором мироздания в стеклянный слайд воздуха. Я ощущаю себя неподвижной точкой, зрячей прозрачной пылинкой внутри волшебного фонаря, и когда пластинку с «лесом» вынимают и ставят следующую, я вижу на экране козу-энгеди, ловко вырезанную мастером из чёрного картона. Тут нужно обязательно сморгнуть, как бросить очередную монетку в прорезь, чтобы зрелище продолжалось.

За всё приходится платить, но я, вроде, единственный безбилетник на этом аттракционе, если не считать смуглого поручика, втёршегося в автобус после остановки в Беэр-Шеве, и всё забывающего предъявить казённую подорожную на редких здесь блокпостах. В отличие от вызывающе двумерной козы, существование которой проблематично, он убедительно объёмен.

Его мундир в других обстоятельствах был бы клеймом ряженого, а здесь, в автобусе, ползущем по трассе Иерусалим — Эйлат, почему-то оставляет равнодушными девушек из Цахала, возвращающихся с побывки на свои затерянные в пустыне посты, смуглых красавиц в защитных комбинезонах, предусмотрительно держащих на, увы, скрытых брезентом круглых коленках свои выдавшие виды уши.

Меня они, впрочем, тоже не замечают, и я догадываюсь, что их мир, наверное, всего на четверть секунды опережает мой, а уж поручик из позапрошлого века, с которым я пытаюсь нала-

дить контакт, для них абсолютно неощутим. А он, надёжно защищённый капсулой своей личной вечности, довольно нагло, но и с некоторой оторопью, пялится на вооружённых барышень, пока я не начинаю понимать, что так долго, как это ему удалось, существовать в мире говорящих звёзд ничуть не забавно и, как сам же он справедливо заметил: «больно и трудно». Может быть, даже значительно труднее, чем звёздной чеченской ночью в авангарде пластунов из Тенгинского спецназа атаковать спящие Гехи.

Мы идём пустой февральской равниной в сторону гор. Справа от нас в неглубоком каньоне, том самом, где так жестоко резался с чеченцами грустный поручик, почти неслышно шуршит оскудевший зимний Валерик. Слева — сухая стерня.

Напоминая иллюстрацию к известной басне Крылова, деловитые, как чёрные муравьи, военные снимают двигатель с колхозного трактора. И на наших глазах он становится похож на тщательно объединённую их железными жвалами стрекозу. «Ты всё пела — это дело, так поди же, попляши».

Ключья маскхалатов, покрытые бурыми пятнами, повисли на стеблях чертополоха, а под ними, на неглубокой пахоте, обрывки окровавленных бинтов, вплавленные в почерневшие под зимним беспощадным солнцем нашлёпки ноздреватого снега.

На развилке дороги неправдоподобно мелкие осыпающиеся окопы, словно взвод пигмеев собирався держать здесь оборону. В одной из стрелковых ячеек, уютно заполняя её целиком, — спящая собака.

Поручик тоже здесь; собственно, он никуда и не исчезал из региона, — тот автобус был случайной, давно уже забытой побывкой. Парадный мундир он сменил на пятнистый комбинезон с разгрузкой, увешанной «железом».

Поездка «на воды» в Пятигорск откладывается, а предстоящая зачистка очередного мятежного аула заставляет его тщательно проверять стволы и амунизию у ошалевших от непрерывной пьянки солдат и, устало матерясь, вызывать пропавшую где-то вертушку сопровождения из далёкого, как Петербург, Моздока.

Он сидит на низкой уютной скамье у ворот санатория. Рядом с пустой будкой для сторожа. На нём чёрный комбинезон с закатанными рукавами. Вместо газырей на груди нашиты чехлы для автоматных рожков. Уже вечер, и они пусты. Вчера он жёг книги в Республиканской библиотеке, сегодня зачищал посёлок художников. Кисти его рук опущены в ворох сухих виноградных листьев. Он сродни этому всему: и листьям на скамье, и виноградной лозе, спускающейся по решётчатой ограде за его спиной. Она так же по-крестьянски узловата и жилиста и так же, как он, закончила своё главное дело: отдала гроздь людям, а листья — земле. Он, запрокинув голову на спинку скамьи и чуть шевеля пальцами, замер, отходя от судороги долгого, всё никак не кончающегося рабочего дня.

Удивительное ощущение чистоты, словно бы каждый квант этого мира протёрли виноградным уксусом, охватывает меня, пока я прохожу мимо, — слепое пятно на его усталой сетчатке...

Ранним утром они окружили несколько домиков, укрывшихся за плетнём, на котором висели глиняные горшки и смешные человечки из головок подсолнухов, ворвались в студию и замерли.

Изгнанники уходили от них узкой тропой, круто поднимающейся к перевалу. Их худые невесомые тела, странно перекошенные в горячем, плотном, как стекло, воздухе, втягивались в ущелье, спешили вверх, к точке, где подъём превращался в спуск, и — он сразу усёк это — уходили из зоны поражения. Он коротко выругался и всё же достал их на последнем рывке, потом увидел, как

обуглился холст, из отверстий в нём потянуло цементной пылью и дымом, а по его краям заплясали цветные язычки пламени.

Когда с беглецами было покончено, он заметил маленькую дверь позади догорающего полотна и, сменив рожок, хлестнул по замку короткой злой очередью. А там, в чулане, косо, сверху вниз, повёл чуть дёргающийся ствол вслед за сползающим по стене человеком в запачканном краской комбинезоне, и пули, выходя из тела, выбивали сначала куски штукатурки, а потом — расщепляли доски некрашеного пола.

Вечером он поужинал жареной картошкой с гуманитарным колбасным фаршем, думая, что завтра снова идти в Город, вспомнил, как пронзительно кричали голодные обезьяны, брошенные в питомнике, и, пока сон не одолел его, всё вслушивался в затухающую стрельбу..

Я поднимался к этой поляне всю долгую ночь. Просто не мог заставить себя идти обратно через зачищенное село, которое уже прошёл насквозь, заглатывая запах пережжённой солярки, отработанной взрывчатки, чужого пота и чадящих внутри развалин очагов. Да и почти неизбежная встреча с солдатами, блокировавшими аул снизу, как-то не радовала. То, что способны сделать с людьми и их жилищами десятков градусов залпов, а потом высадившийся с «вертушек» спецназ, трудно поддаётся осмыслению. Записывая увиденное в полевой блокнот, я только морщился: всё было — не то, и невнятные знаки на бумаге не имели никакого отношения к опознанной мной час назад искалеченной и обгоревшей плоти, перемешанной с зимним колючим щебнем.

Внизу моросил дождь, но постепенно, как это всегда случается на подъёме в горах, капли стали жидкой холодной кашей, тоже с привкусом солярки, а потом резко похолодало, и сухие снежинки пахли теперь только самими собой. Когда я включал фонарик, нащупывая тропу впереди, то происходящее в маленьком световом конусе становилось похожим на фрагмент спектакля в театре теней или фильма, поставленного в технике игольчатой анимации. А уколы снежинок воспринимались как дополнительный бонус, вручённый единственному зрителю этого представления вовремя подвернувшимся специалистом по акупунктуре.

Они зависали перед лицом и исчезали: маленькие, обречённые мгновенно умереть, пустые, невесомые кристаллические замки. А белая десантура,

мягко падающая на камни вокруг и тотчас же, как и положено спецназу, исчезающая неизвестно где, внятно демонстрировала притчу об Уделе человеческом.

Конус моего фонарика позволял увидеть судьбу и тех, кто горяч, и тех, кто холоден — одинаковую судьбу — превращение их в собственную проекцию, пляшущую точку тени, чётко видимую, но не обладающую ни одним из возможных в этом мире измерений. И нужно было догадаться, что, собственно, именно там, позади нее, для них только все и начиналось. Но об этом не знали ни летящий снег, ни тени, пляшущие под ним.

Споткнувшись о корень, я незаметно вошёл внутрь интимной, чуть вибрирующей открытости иного. Невидимой, но ровно дышащей — рядом с другими звёздами, другими деревьями, внутри другого снега. И оказался в белой норе, построенной метелью рядом с водопадом. Я услышал шум падающего вертикально потока и вплетённый в него шум ветра — два прозрачных голоса: один бесплотный, а другой — вибрирующий, упругий и звонкий, как живое стекло. Потом к ним прибавились стон дерева над обрывом и едва слышимый, похожий на щёлканье кастаньет звук лопающихся камней на остывающей осыпи. Я слушал эту музыку, лёжа на спине, на ледяном полу, и из опрокинутого чёрного котелка неба в мой наконец-то пустой череп стекали холодные, тяжёлые капли звёзд.

## *В снежной пене, предзакатная...*

«Пулями пробито днище котелка, маркитантка юная убита», — вспомнил он старую песенку Булата — и засмеялся.

Впрочем, смех оборвался сразу: из пупковой чакры метнулся вверх фонтан боли: каждый раз это было неожиданно, как удар хлыста.

Месяц назад его прямо из «скорой» перенесли на затянутый оранжевой клеёнкой стол в амбулатории. Потом врач прицелился и точным ударом блестящего молоточка вогнал металлическую трубку в его тело. К ней приделали гибкий шланг, через который в пластиковый мешок, подвешенный к поясу под верхней одеждой с нашитым изнутри карманом, стекала моча.

Потом, на побывке, он долго объяснял усталой женщине в Доме быта, как нужно пришивать карман, и всё стеснялся сказать: зачем. Латиница надписей на мешке подробно повествовала о том, как и когда его нужно опорожнять, но это и так, без знания английского, было понятно.

Сюрреалистичным было другое — ощущение отсутствия телесного низа, как бы пустота, заместившая самый корень бытия. Он подумал, что если бы у него была ампутирована нога, то в награду он получил бы хотя бы фантомные боли. Здесь же была ампутирована одна из самых естественных и регулярных человеческих способностей, и нижняя часть тела казалось невесомой и лишённой чего-то абсолютно необходимого. Он, с некоторой оторопью, подозревал, что и «юная маркитантка», может быть, ему больше не понадобится. Пожалуй, при **таких** вводных, и потеря разума могла показаться благом.

Но, вникая в эту странную апофатическую физиологию, воспарить над миром, несмотря на логическую безупречность вывода, всё же не получалось: мешок с мочой был балластом, привязанным к корзине воздушного шара несостоявшегося аэронавта. Пустота под ним и была корнем всего, сформулировал он, но дальше не формулировалось. Этого «дальше» просто не было в мире слов...

Он полез на эту лесистую горку над заснеженным посёлком явно сдуру. На Джомолунгму она даже и близко не тянула. Приехал к другу в январе, вышел из автобуса на трассе, и, пока шёл по пустынной дороге в белых змеях позёмки, заходящее солнце слегка подталкивало его в спину. Мир вокруг него, после всей столичной бестолковщины и безнадёжности, был так распахнут и чист, что его насквозь пронзило всем этим и уже не отпускало до конца.

Вечером они выпили водки и поговорили, потом он отключился, а утром, заварив крепкий чай, сложил палатку, спальник, кое-какую еду и утрамбовал всё это в рюкзак. Состояние эйфории не прекращалось, и он, ценитель Ван Вэя и Басё, чтобы продлить и, возможно, закрепить его, решил провести одинокую ночь наверху, чтобы быть чуть ближе к полной луне, словно специально подвешенной в вымороженном небе на этот случай. Колесо солнца опять, торопя и подбадривая, подталкивало его, теперь уже вверх по крутому склону.

К ночи, когда он вскарабкался на маленькую площадку среди обледенелых сосен и развёл костёр, он понял, что взял на себя слишком много.

На подъёме он сначала сильно вспотел, потом, переобуваясь, обморозил пальцы ног, а отказавший мочевой пузырь сделал невозможным ночлег в спальном мешке. Но он всё же развёл костёр, растопил снег в большой эмалированной кружке, дождался, когда вода вскипела, и сыпанул туда горсть кофе.

А потом спускался вниз, к посёлку, и ночь всё не кончалась, и теперь уже луна ненавязчиво подталкивала его в спину. Несколько раз, опрокидываясь на рюкзак, он безуспешно оттирал белые мёртвые пальцы снегом, а затем ещё одни сутки добирался до Академгородка.

Две недели он валялся в хирургии, обвешанный капельницами. Пальцы ему спасли, но потом перевели в урологию, и в конце концов, как жук в коллекции энтомолога, он оказался пришпилен к блестящей полой игле и висел на ней почти два месяца, пока его не прооперировали.

Перед операцией ему дали неделю отгула. Была жестокая сибирская зима, февраль в самом зените. Выйдя из маршрутки, он уже больше часа разыскивал похоронную конторку, затерянную в занесённом снегом предместье Новосибирска: километровой впадине, где хаос деревянных домов так удачно соседствовал с ржавыми железными гаражами, меж которых текла чёрная, остро пахнущая речка. Пар, висящий над ней, и обледеневшие прутья тальника делали это место удивительно колоритным.

«Как поживаете, Иван Иванович?» — «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу», — вспомнил он, и эта фраза очень подходила и к нему, нынешнему, и к месту, в котором он оказался.

Потом пришло время опоражнивать мешок, и он, кое-как протиснувшись в закуток между гаражами, воровато осмотрелся и приступил к процедуре. Содержимое мешка — жидкость, насыщенная кровью и какими-то противными жёлтыми хлопьями, вылившись на снег, привлекла внимание двух бездомных псов, и, пока он приводил в порядок амуницию, они жадно лизали парящее месиво.

В архиве конторки, куда он всё же приплёлся ещё через полчаса, ему выдали свидетельство о смерти его матери, не дотянувшей и до сорокалетия.

Она была школьницей из еврейской семьи, бежала от войны из маленького городка в Украине и заработала туберкулёз, скитаясь по брянским лесам. «Выковырянная» (так тогда местное население называло эвакуированных) из прошлой жизни, потерявшая разом мать и отца, расстрелянных на окраине Нежина осенью 41-го, она познакомилась с его будущим отцом, контуженным танкистом, оставленным в Ульяновске после госпиталя.

Через два года после конца Войны она родила мальчика, потом прожила ещё 16 лет и умерла. Это произошло почти полвека назад в бараке для безнадежных больных на берегу Обского водохранилища. Он до сих пор ощущал, что какая-то необходимая и лучшая часть его существа тогда ушла вместе с ней и затерялась в том, что никто и никогда не сумеет назвать, и единственная надежда оказаться там — это уйти вслед за ней. Через три года после её смерти он и попробовал «перепрыгнуть» туда, к ней, но в дело вмешалась

случайность, и спустя несколько дней, выйдя из комы в больничной палате, он ощутил, что там, внутри, где вещи забыли свои имена, всё же чуть коснулся её руки.

Он вспомнил того, иногда всё ещё выглядывающего из-за его спины, шестнадцатилетнего подростка и подумал, что уже старше своей матери больше чем на 25 лет. И если бы она встретилась с ним сейчас, то наверняка не узнала бы его тако-го, и что, ясен пень, «живи — он — ещё хоть чет-верть века — всё будет так, исхода нет».

Он ещё с отрочества, бредя этими стихами, был чем-то очень близок к тому, кто так удачно сформулировал и зарифмовал основную пробле-му каждой состоявшейся человеческой жизни: её безысходную длительность — словно перехватил и долго нёс груз, который оставил ему поэт, дав-но съеденный своей отвязавшейся страной. И вот теперь приходило время передать этот груз следу-ющему носильщику. А его не предвиделось.

Он вспомнил, как два года назад ясной осен-ней ночью под уже холодными огромными звёзда-ми возвращался из алтайского села, где его друг-отшельник сторожил маленькую турбазу и где так хорошо шла водка — под шум ветра за маленьким окном бревенчатой избы, под горячую картошку в мундире, накопанную тут же, в отшельническом огороде. Вспомнил стихи, которые читал ему захме-левший приятель: «Понимаешь, здесь тоже разгул, / остальные прикованы намертво, / но зачем опро-кидывать стул / и опять возвращаться в беспамят-ство?». Впрочем, возвращаться ему было некуда: беспамятство всё как-то не наступало, да и мос-ковская квартира, в которой он перемогался уже

более десятка лет, опротивела до последнего: «не хочу».

Он вспомнил, как академгородским подростком в заснеженном лесу по дороге в школу твердил сквозь всё разбухающий комок в горле: «Ты услышишь с белой пристани отдалённые рога, ты поймёшь растущий издали зов закованной в снега», — и понял, что только теперь по-настоящему услышал и понял его, этот зов.

Последнее, что он всё ещё ценил в себе — это была как раз острота внутреннего зрения, особенно — зрения, обращённого назад, которое он ощущал в свои закатные годы. Словно включился и сканировал пространство за спиной теменной глазок, родимчик с упрятым в нём зрячим волшебным шариком. Это не было памятью: какая-то другая оптика, не связанная с ней, укрупняла — увеличивая чёткость изображения — произвольно выбранные ею детали прошлого. И дарила их ему.

Обычно память соединяет распавшиеся части целого, ткёт полотно непрерывности, подыгрывая жалкой человеческой попытке втереться в вечность. А теперь всё было наоборот: были важны только не связанные ни с чем фрагменты, разбегающиеся в темноте автономные миры смыслов, последние живые островки уходящего на дно архипелага, самоотверженно и безнадежно защищающие свою независимость.

Он остановился на обочине, где чуть ниже полотна дороги на покрытой инеем уже жухлой траве готовились к зиме стебли чертополоха. Невидимый, но живой, чуть вибрирующий горячий канатик на десяток секунд соединил его с этой

холодной землёй. А когда он по наитию включил карманный фонарь, то увидел, как в ровном чёрном круге, крошечном тёплом плацдарме, отвоёванном на минуту у окружающей его холодной белой темноты, в прозрачных клубах пара, словно в защитном куполе, кружатся крошечные существа, цепляясь крыльями за колючие башни и арки. Мир, так странно и внезапно открывшийся ему, ещё не был поименован — человеческие слова здесь явно не годились. Можно было только смотреть, вбирая его в себя, а потом погасить фонарик и уйти.

Невидимая, дрожащая от напряжения нить, баллистическая кривая, совершенная, как замысел Бога, занятая доставкой твоей смерти. И, сколько ни вжимайся в спинку сиденья, лента дороги, разматываясь, обязательно приведёт тебя к точке встречи.

Ты перебрасываешься шуточками с водителем, прикуриваешь, наклоняясь к нему через накрытый стёганым чехлом горб двигателя, а взгляд скользит по прозрачным февральским деревьям, по белой полоске неба над ними. Потом ты начинаешь слышать вплетённый в шум ветра невыносимый скрипучий визг, летящий к тебе, и каждая частица воздуха, которую ты втягиваешь в лёгкие, уже наполнена им.

Очень давно, просунув голову в дупло дерева, ты заглянул в чёрный туннель, уходящий к вершине, и вдруг — оттуда, из затканной паутиной темноты, метнулся к тебе живой комок с огромными жёлтыми глазами, сова, которую ты невзначай разбудил.

Поселившись в старом высыхающем дереве твоего мира, она опять ищет тебя, шныряя в глубине ветвящихся туннелей с рваными дырами на пульсирующих стенках, и там, внутри — другой лес и другое небо, которое она хочет сделать твоими.

И ты вроде бы уже согласен на её условия: твоё тело растворяется в восковом потоке, растекающемся по мерзлоте верхнего мира, из которого свешиваются пустые шприцы зимних веток с мутными застывшими каплями на конце игл.

Но вот ты уже ушёл — выпяченная в мир уязвимая оболочка стала белым пятном на карте забытой всеми провинции. Вести оттуда уже давно не приходят, да и не нужны никому. Всё, что осталось тебе, — это маленькая комнатка на забытой всеми почтовой станции. Вымерзший чулан с оплетённой паутиной стеклянной кабинкой, где ты равнодушно вслушиваешься в чужое бормотанье внутри твоей головы, лежащей там, на маленьком столике рядом с телефонной трубкой: невнятные слова, постепенно превращающиеся в ровный гул проводов над зимней дорогой, начисто лишенный смысла.

И теперь уже где-то далеко, вне тебя рвут металл кабины осколки из вспухшего перед капотом фиолетового куста. Какой-то сумасшедший Мичурин как попало всаживает их в ленту асфальта, падающую под колеса. Потом один куст накрывает встречную машину. И ты ещё успеваешь увидеть, как из неё рвутся огонь и дым, и тело женщины, распятое на сорванной взрывом дверце, раскручиваясь, летит над дорогой.

«...Где волны жизни и смерти с непостижимой медлительностью беззвучно обрушиваются на пустые побережья архипелага. Размытые временем границы: камень и вода, остервенело грызущие друга друга. Попытка понять, отсылающая память к названию устройства, так похожему на старинное славянское ругательство. Ну, да: колёсико этого самого курвиметра, бесконечно бороздящее песок острова Коха́.

Топографические сценарии, в которые встроена вывернутая наизнанку траектория этой жизни: многократно повторенная агония и смерть. Не как точка, завершающая текст, но как волна, идущая сквозь него.

Тринадцатилетний мальчик в глухом ауле, которому как бы невзначай достался пятнистый комбинезон. Его мир, включённый в потоковую модель очередной оперативной многоходовки силовиков. Профиль которой — пытки в урус-мартановском подвале и полумёртвая плоть, уже и стоном не отвечающая на удары.

Потом — поляна в лесу, где после контрольного выстрела он — гладиатор по ту сторону Стикса — ведёт свой первый и последний посмертный бой, и кто-то в камуфляже поправляет автомат в его руке и всё ищет нужный ракурс».

Из полевого блокнота.

Чечня. Февраль 2000

Я вернулся в Москву с первой Чеченской в конце зимы 95-го. Денег на прожитие не хватало, а эпизодическая журналистская работа была волонтерской и почти совсем не оплачивалась. Но мне всё же повезло. Я нашёл нехитрую подработку: отправлять в Сибирь знакомому книготорговцу хорошие книжки, издаваемые в Москве. «Хорошими» они назначались по моему усмотрению. Дело со скрипом, но пошло.

Когда я переговаривался с владельцем тиража, он всё навязывал мне «десяток-другой тысяч» экземпляров. «Почти задаром», — убеждал он меня. А когда я объяснил ему, что нужно всего-то 3–4 пачки «Игры в бисер», он потерял ко мне всякий интерес и, широкая душа, сказал:

— Бери так, если найдёшь. Не обеднею.

Заснеженная кочегарка на окраине Москвы совсем не охранялась. Сторож, похоже, пьяный, спал в своей сторожке, и будить его не было никакого смысла. Над грудями раскуроченной техники вилась позёмка, и оранжевые камазы спали под навечно засыпавшим их снегом. Для завершения картины не хватало только шоферских умертвий, заселивших стальные кабины.

Книги с прозрачной синей пирамидкой на обложке были раскиданы по всему рабочему залу, среди куч шлака и блестящих кусков угля. В углу, рядом с валяющимися на полу замасленными, пахнущими соляровкой телогрейками, был остаток костерка из них же, а рядом — две пустые водочные бутылки и окаменевший огрызок батона со следами не то собачьих, не то человеческих зубов.

Книги только немного обгорели: воздух не смог проникнуть в них и раздуть пламя. Буквы на серых обугленных страницах слегка шевелились от ветра, дующего из-под широких дверей.

«Ну, да, — подумал я, взглянув на предпоследнюю страницу уцелевшего томика, — множим 20 сантиметров на 13 и на 2, а потом то, что получилось — на пятьсот тысяч».

Итог ошеломил, но я, обернувшись, увидел его перед собой воочию и, вытащив из бледно-жёлтой бумажной стены два «кирпича», получил ступени, по которым забрался наверх.

Потолок с тускло горящими пыльными светильниками оказался совсем рядом, а внизу, под мной, был главный зал мёртвой кочегарки.

Огромный параллелепипед — этакая Баальбекская терраса из бумажных блоков — занимал почти всё пространство напротив длинного ряда остывших топок. Я подумал, что этими книгами можно было бы отапливать прилегающие к объекту хрущёвки несколько дней. Я присел на край террасы, выложенной из «Сочинений, оставшихся от Йозефа Кнехта», свесил ноги к далёкому плиточному полу, и, вскрыв одну из пачек, уточнил время издания. Выходило, что лежали они здесь уже три года — 250 кубических метров Германа Гессе.

Лет 80 назад молодой немецкий интеллектуал, ускользнувший от войны в швейцарский Берн, написал «Убежище». До главной книги ему оставалось ещё четверть века, и он создал её в той же стране, вместе с ним сумевшей избежать несчастья уже во второй раз. И книга получилась чистой и холодной, как вода здешних озер. А мир вокруг был наполнен смертью и — грязью, смешанной со

смертью, но вот вторгнуться и загадить «Педагогическую провинцию» у него не получилось.

Кочегарка на окраине столицы только что дотлевшего Третьего Рима была каким-то странным эпилогом всей истории. Раздумывая об этом, я прилёг на прохладный лежак и стал перелистывать книгу. Сразу же наткнулся на стихотворение Магистра Игры: «Буквы». Напрягая глаза, прочёл про дикаря, принесшего в жертву огню бумагу с письменами. И, как это несколько раз случалось со мной после контузии, полученной в Грозном, отключился.

Зависший в этой системе координат, я вроде бы был и Мастером — «последним умельцем Игры», и самим собой — одновременно. Не хватало только яркого огня в топках и бодрого полуобнажённого кочегара, который вытянет книгу из моих «дрожащих старческих рук», а через некоторое время принесёт — благородный дикарь — кусок жареного мяса с налипшими на него обугленными лоскутками страниц.

И тогда я в последний раз прочту уцелевшие в огне буквы — и составлю из них Итоговую фразу, в которой будет и то озеро, и жизнь Мастера, и моя жизнь. Мы наконец-то окажемся вместе, как сплюснутые временем крылья археоптерикса в куске антрацита.

Этот заляпанный холодной зимней грязью бортовой уазик, тормознувший рядом со мной, как-то не располагал к контакту, да и двигаться вниз, к центру города, куда он явно норовил нырнуть, у меня тоже не было никакой причины. Я заглянул внутрь кузова. Там на мокром дощатом настиле стояла сорокалитровая металлическая канистра, а рядом с ней — полотняный мешок с буханками хлеба и похожая на фрагмент картины Дали «Предчувствие гражданской войны», но совсем не страшная коровья нога. Усман при полной амуниции (каска, автомат, броник, две гранаты на поясе), надменно улыбаясь, протягивал мне руку. Сверху вниз! И, поколебавшись несколько секунд, я всё же принял её.

Лавируя между свежими воронками, мы спустились к центру по улице не то Ленина, не то Авторханова. Таблички на нескольких уцелевших домах не давали разуму никакой зацепки. Гражданская война разрушила не только тела людей и строения, но и сделала недостоверными их имена.

Шел её героический этап, и где-то далеко за горизонтом многим из окружающих меня «карбонариев», наверное, виделось что-то вроде проспекта Свободной Чечни, по которому они каждое утро всю оставшуюся жизнь, да, наверное, и после, перейдя вброд свой обмелевший чеченский Стикс, будут маршировать на позиции.

Но я понимал совершенно ясно: ко мне, это уже не имело никакого отношения. Потому что мир, в котором я передвигался, да, и я сам на гла-

зах теряли цельность и связность, и нам уже было не до названий. Каждый следующий день Город, образцовый шизофреник, выдавал мне новую, улучшенную версию своего распада. Это не был связный линейный текст, но встряхиваемый залповым огнём мешок с иероглифами: письма империи мин, которые я, китаист хренов, не мог прочесть. Всё вокруг меня устало существовать, и мне казалось, что тонкие стальные нити растяжек, натянутые внутри полуразрушенных домов, своего рода крепёжная сеть смерти, — последнее, что ещё удерживает его от полного исчезновения.

Впереди, недалеко от нас, лопнул очередной нарыв над домами, и грузовичок, словно его толкнули изо всех сил невидимой великанской ладонью, притиснуло к подворотне. Усман заорал что-то по-чеченски, и два мужика в чёрных комбинезонах, появившиеся из-под развалин, подхватили из наших рук коровью ногу и канистру с водой и потащили их через кирпичный завал. Мне достался мешок, и, отплевываясь набившейся в горло цементной пылью, я нырнул вниз, больно ударился плечом о какой-то выступ и побрёл по коридору на слабый свет и запах дыма.

Это был подвал городской поликлиники. В бетонном закутке горел маленький костёр из обломков фанерного стенда с фотографиями лучших людей медперсонала, а вокруг сидели ополченцы. Впрочем, меня сразу же пригласили в следующий отсек. Я развязал мешок и стал раздавать хлеб. В углу были отгороженные брезентом нары. Оттуда вышли две девушки-медсестры, и я заметил запылённый цветок в вазе на их столе. Больше всего это походило на декорацию старого военного

фильма. Но её подлинность была явно чрезмерной. И уж совсем киношным выглядел немецкий корреспондент с видеокамерой, прижатой к груди. Лучшего актёра на роль пленного фашиста в этой постановке трудно было бы найти: его обречённо мужественное лицо на фоне простовато-лукавых чеченских физиономий было так контрастно, что я долго не мог оторвать от него взгляд.

Усман засмеялся и сказал:

— Он не понимает ни по-русски, ни по-чеченски и сейчас пойдёт с нами в атаку. Снимать.

«Тяжело достаётся парню его хлеб», — подумал я, и тут соседний отсек накрыли.

Это был бетонобойный снаряд: болванка, пробившая перекрытие. Куски бетона с потолка убили молящегося на коврике ополченца, как бы удачно завершив его намаз, а туча бетонной пыли ворвалась в наше тупиковое убежище, сделав серыми даже ярко-зелёные повязки на лбах боевиков. И теперь это всё больше стало походить на прижавшуюся к дну моря подводную лодку.

Я вспомнил, как в детстве в толстой отцовской книжке «Советский военный рассказ» прочитал про героических подводников, прислушивающихся к взрывам «голубиных» бомб, и как, чуть подумав, засмеялся отец, когда я попросил его объяснить мне, что там у них происходит.

Здесь явно не голубь, а словно какая-то птица Рух из книжки о Синдбаде методично проклёвывала бетон. Удары сверху шли уже непрерывно, и я, приложив ладонь к потолку, почувствовал тонкую вибрацию перекрытий. Наша субмарина теряла герметичность. И вроде бы мне нужно было готовиться к Переходу.

Прижавшись спиной к бетонному блоку, я спросил у соседа, что теперь нужно делать. Это был щуплый чеченец, лет под пятьдесят, и, обернувшись ко мне, он сказал:

— Хвара дунея вайн дац, — и сам же перевёл себя. — Эта вселенная не наша. Главное, друг, не суетись, и ты не заметишь, как очутишься в другой. Эти полости в земле соединяют жизнь и смерть намного лучше вашего метро. Лятт киера — пузыри земли, — засмеялся он, — а может быть, мы уже там, внутри них, и просто не заметили перехода.

*«...К вопросу об исламском возрождении: когда их грузят на бортовой уазик усталые женщины, чтобы отвезти за село и похоронить на кладбище рядом с трассой, я начинаю понимать, что это совсем не ломовая работа. Обожжённые, подвяленные на весеннем ветру тела почти невесомы. Последние недели они голодали: грызли ростки горного чеснока и зёрна пшеницы. Прожаренные огнём зёрна обнаруживались в обгоревших карманах почти у каждого из них. Я покатал их между пальцами. Они были твёрдыми и тёплыми на ощупь. Иногда с сочными зелёными флажками, выброшенными навстречу темноте. Перед началом атаки...»*

Из полевого блокнота  
Чечня. Комсомольское. Март 2000

## *Из тяжести недоброй...*

Прислонясь спиной к исклѣванной осколками кирпичной стене, занѣс в блокнот: «Я пытаюсь рассказать вам о складках, формируемых изнанкой бытия. Именно они липнут к подлинному телу смерти. Смерть — всегда подлинник, и знаки, которые я записываю мимоходом, несомненно, являются частью зашифрованного сообщения с той стороны».

Потом меня окликнул водитель, я засунул блокнот в сумку, и мы тронулись в путь.

Стремительно темнело. Ночь пахла соляжкой и мокрым снегом. В её плотном коконе, слегка покачиваясь, уютно висела наша машина, ползущая по разбитой трассе, потом меня сморило, и я быстро уснул.

Всѣ произошло внезапно, и я «на автопилоте» выпрыгнул уже из пустого, валящегося куда-то вбок салона и чуть позже успел увидеть в вибрирующем сиянии осветительной ракеты, как из «вертушки», зависшей над полем по ту сторону трассы, потянулись к нашему лежащему на боку уазуку цветные нити и он загорелся.

А потом «вертушка» стала обрабатывать ракетами лесополосу, в которую я заполз. Мне казалось, что там, вверху, кто-то прикуривает, ломая отсыревшие спички одну за другой, и бросает их вниз, в темноту. Потом меня швырнуло на мѣрзлые листья, и в исчезнувшем мире из всех ощущений мне был оставлен только сильный свежий запах расщеплѣнной осколками древесной плоти.

Открыв глаза и повернувшись на бок, я увидел тусклые звѣзды, смотрящие на меня сквозь

рёбра взорванного собора. Сознание было тёмным: внутри головы словно плыли друг к другу и никак не могли совместиться две картинки. Они были почти одинаковыми, но не осмысливались как целое: масштаб изображения менялся, словно кто-то быстро переворачивал бинокль перед моими глазами. Потом внезапно сфокусировавшийся взгляд всё же вобрал в себя то, что лежало почти плотную ко мне.

Я напрягся, сдержав тошноту, припомнил строчку старых стихов и решил, что здесь совсем нет той недоброй тяжести, без которой почти никогда не обходится большая архитектура. Вспомнив детское увлечение астрономией, я попытался найти какой-то репер, чтобы понять: как выползти к трассе, и прикинул, что если лежать неподвижно головой на север, то «хвост» медведицы пройдёт между третьим и пятым рёбрами ещё задолго до того, как наступит рассвет. Это, несомненно, было точным знанием, но применимость его к происходящему со мной была сомнительной. Тогда я ещё раз вспомнил стихи и подумал, что они неплохо звучат и теперь, на исходе моего и их века, но уже мало что значат. Время не то что состарило, а как-то обесцветило их.

Плоть мира, в которую были втиснуты и те «чудовищные рёбра», и эти искромсанные осколками деревья, и отполированная собачьими зубами и ветром грудная клетка человека, прижавшаяся ко мне — уже не нуждалась в словах, а была только последним убежищем для камня, дерева, путника, тумана...

«...Из тяжести недоброй /и я когда-нибудь прекрасное создам».

Курт Воннегут в «Судьбах хуже смерти» замечает: «Для меня, школьника, видевшего Депрессию, Первая мировая война, сформировавшая Эрнеста Хемингуэя, происходила словно бы тысячу лет назад».

К моему поколению (я родился в 1947 году) эта, казалось бы, давно забытая война, была ближе, чем к американскому писателю, родившемуся в 22-м.

Это случилось благодаря появлению в моём отрочестве изданных массовыми тиражами книг «Прощай, оружие», «Фиеста» и «На Западном фронте без перемен». Чуть позже – военных рассказов Олдингтона и его же романа «Все люди враги».

Я думаю, что для русских читающих мальчиков начала 60-х появление этих текстов было главным и ошеломляющим событием их жизни. Ведь отдельной, независимой от общей, реальности ни в школьном курсе советской литературы, ни вне него просто не существовало.

«Внутренний мир» как таковой отсутствовал: мы все были как будто всадники без головы с отлично функционирующим спинным мозгом, замкнутым прямо на клеммы генераторов Братской ГЭС.

«Нам кровавой соплёй перешибли хребет. Отползай, корешок, за Тайшет!». А до появления главных текстов уже о «нашей», Второй войне, оставалось ещё почти четверть века.

Зримому аду войны в книгах Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона позже, в «Уловке-22» и в «Нагих

и мёртвых» противостояло только человеческое сознание с его онтологической неуязвимостью. Наверное, лучший рассказ о Войне, написанный в XX веке, — «Полный поворот кругом» Фолкнера — хорошо подтверждает эту мысль.

А наша Главная Война (одновременно Гражданская и Отечественная) оставалась неопознанной до конца восьмидесятых. Как, впрочем, она не опознана почти никем и сегодня. Вернувшиеся с неё, несмотря на кажущуюся доступность их опыта, так и не проговорились о том, что с ними произошло. А потом ушли.

Мы должны понять, что хронологические рамки этой войны выглядят не так, как мы обычно представляем. В действительности она началась в январе 1918 и закончилась в 1953 — со смертью Сталина. А потом убитая страна дотлевала ещё 30 с лишним лет.

Ближе к концу века с захлестом и в новое тысячелетие начались локальные конфликты — своего рода милиарный туберкулёз, разъедающий уже полумёртвое тело Империи, и мне довелось увидеть, как это было.

А внутри горячей фазы каждое десятилетие счёт погибшим шёл на миллионы, а с сорок первого по сорок пятый годы — на десятки миллионов.

Сгинувшие на ней так и остались непогребёнными, а большинство тех, кто вернулся, стали не совсем людьми. Нам, родившимся во второй половине XX века, достался только протез той реальности и... фантомные боли.

Эта боль стала «Архипелагом ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Колымскими рассказами» Варлама Шаламова и главным романом о Войне,

созданным Виктором Астафьевым: «Прокляты и убиты».

Свидетельствами о том, как почти ослепшим от голода людям в рваной негреющей одежде приказали умереть, защищая расстрельные полигоны и сытых главарей их Большой зоны, и о том, как они умирали. И ещё о том, как высокие цели, которые декларируют и романтики и подонки в начале пути, с неизбежностью превращают народ в безысходную совокупность палачей и жертв, бредущих в пыточные подвалы — в его конце.

Станислав Божко родился в 1947 году в Новосибирске. Учился на филологическом факультете Томского госуниверситета. В 70-х годах работал в социологической лаборатории ТГУ. Одновременно был сторожем в оранжерее Горзеленстроя, где во время дежурств у него собиралась интеллектуальная молодёжь для бесед на вольные темы и обмена запрещённой литературой. В течение почти 10 лет проводил там культурологические и философские семинары, распространял произведения А. Авторханова, А. Солженицина, В. Шаламова и многих других.

1 апреля 1980 года КГБ провёл обыски в теплице и на квартирах С. Божко и его друзей и возбудил дело по обвинению в изготовлении, хранении и распространении антисоветской литературы. С. Божко после длительных допросов был изгнан с работы, получил официальное предостережение от органов безопасности. Долгие годы находился под наблюдением томского КГБ, работая разнорабочим на строительных и ремонтных работах.

С 1988 года участвовал в создании Томского «Мемориала». Стал одним из создателей «Вольного философского семинара» в Томске. В 1991 году переселился в Москву, женившись на москвичке, отбывающей ссылку в Томской области по политическому обвинению.

В 1992 году познакомился с Виктором Попковым, лидером созданной им правозащитно-миротворческой организации «Омега», и стал её соучредителем. Осенью 1992 года вместе

с В. Попковым работал в зоне грузино-абхазского конфликта. Оказывал помощь в розыске убитых и пропавших без вести гражданских лиц и комбатантов. Пытался предотвращать уничтожение культурных ценностей. Участвовал в эвакуации из зоны конфликта женщин и детей.

В январе–феврале 1995 года в Чечне совместно с организациями ОМИ и «Международное не-насилие» Станислав Божко организовал регулярные рейсы эвакуации гражданского населения и раненных комбатантов из зон интенсивных бомбёжек. Участвовал в снабжении продовольствием, водой и медикаментами оставшихся в центре Грозного мирных граждан.

Во время Второй чеченской войны неоднократно ездил в Чечню с гуманитарными миссиями. Участвовал в миротворческих программах, направленных на стабилизацию обстановки в приграничных районах Чечни и Дагестана.

Автор многочисленных публикаций в российской и зарубежной периодике и двух книг: «Время года — война» и «Зеркала», вышедших в московском издательстве: «Волшебный фонарь».

Станислав Божко, плутая в потемках, иногда освещаемых «чуть вибрирующим сияньем осветительной ракеты», ищет путь к нам, тем, кто там не был, ищет, как передать этот опыт, эти испытания. И выбирает дорогу (если говорить литературоведчески — жанр) не столько «ума холодных наблюдений», сколько «сердца горестных замет»

*Наталья Горбаневская*

## Содержание

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <i>Михаил Щербаков. Ad Leucopoen</i> | 4  |
| <i>Из полевого блокнота</i>          | 5  |
| Памяти АБНИ                          | 6  |
| Двойная планета                      | 8  |
| Попытка к бегству                    | 12 |
| <i>Из полевого блокнота</i>          | 17 |
| И восходит солнце...                 | 18 |
| Кремнистый путь из старой песни      | 22 |
| Ликвидатор                           | 25 |
| Чеченское сатори                     | 27 |
| В снежной пене, предзакатная...      | 29 |
| Другое небо                          | 36 |
| <i>Из полевого блокнота</i>          | 38 |
| Последнее убежище                    | 39 |
| Сфера Шварцшильда                    | 42 |
| <i>Из полевого блокнота</i>          | 46 |
| Из тяжести недоброй...               | 47 |
| Послесловие автора                   | 49 |
| Коротко об авторе                    | 52 |

Редактор Н.В Серебренников

Дизайнер Р.Б. Гершзон

Ответственный за выпуск В.П. Ерохин

Обложка Марии Санниковой

На четвёртой сторонке обложки  
и контртитule фото Григория Санникова

УДК 882-92  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4  
Б76

**Станислав Божко**

Последнее убежище. —

М.: Волшебный фонарь, 2018. 56 с.

ISBN 978-5-903505-29-6

ISBN 9785903505296



9 785903 505296 >

- © С.В. Божко, текст, 2018
- © Г.С. Санников, фото, 2018
- © М.С. Санникова, обложка, 2018
- © «Волшебный фонарь», макет, 2018

Отпечатано в ППП «Типография „Наука“»

121099, Москва, Шубинский пер., 6.

Формат 84x108/32

Объём 1,75 п.л.

Заказ 1300

